

Афанасий Мамедов

ПАРОХОД «БАБЕЛОН»¹

(фрагмент из романа)

**Памяти моего деда Афанасия Ефимовича
Милькина**

*Знаков наших не увидели мы, нет больше пророка,
и не с нами знающий — доколе?*

Теллим, 74:9

Пролог

ОДНАЖДЫ В СТАМБУЛЕ

Хотя с момента переименования города прошло едва ли больше недели, искавшие в одном городе другой могли легко заблудиться на его улицах.

Что-то неуловимое покинуло город, ушло из его прежней жизни. Походило это на то, как если бы город был человек и его стали называть другим именем, лишив заслуг и приписав свойства, которыми он не обладал прежде.

Ретроградный Меркурий не щадил никого. На исходе того самого дня, когда было объявлено о переименовании Константинополя в Стамбул², представитель фирмы «Эйтингон Шильд», соратник Соломона Новогрудского и «запасной вариант» Ефима Ефимовича на случай непредвиденных обстоятельств, был схвачен турецкой тайной полицией. Произошло это в переулках Галаты — старой еврейской части города, возле книжного магазина господина Чер-

¹Роман Афанасия Мамедова «Пароход “Бабелон”» выйдет в марте 2021 года в издательстве «ЭКМО».

² 28 марта 1930 года по указу Мустафы Кемаля Ататюрка Константинополь был переименован в Стамбул.

винского, а несколькими часами позже во втором этаже гостиницы «Ханифе», в которой Ефим Ефимович (можно просто — Ефим или Ефимыч) остановился по наводке все того же Соломона, повесился некий молодой англичанин — тихий двойник принца Георга.

Синематическая внешность островитянина, его пристальные взгляды, ленивый басок и излишняя церемонность, напоминавшая здесь, на Востоке, натянутый собачий поводок — вот то немногое, что удалось спасти от забвения некоторым пронизательным жильцам гостиницы. Впрочем, не только это. В памяти Ефима в дополнение к тому всплывали еще и частые щелчки массивного портсигара.

К самому Ефиму, кутившему в Стамбуле не меньше незадачливо-го англичанина, Меркурий, похоже, был более благосклонен: спал он таким безмятежным дачным сном, что не слышал даже, как шуршала всю ночь крыльями полиция, точно залетевшая в коридор гостиницы птица.

«Сон мой был столь крепок, что я пропустил даже азан — заунывное пение муэдзина, из-за которого просыпался с рассветом в предыдущие дни, — мечеть располагалась прямо напротив моего окна. Встань с кровати, распахни занавесь — и вот он, минарет, правда, всего лишь до середины, но если открыть окно пошире, вывалиться до пупа и задрать голову вверх, можно увидеть, как муэдзин кричит с шарафа, узенького кругового балкончика, что-то свое длинное-предлинное, повязывающее узлом вечности единоверцев».

А вчера утром Ефим, воспользовавшись благорасположенностью своего бога — бога изворотливости, выпил стакан кипяченой воды из графина, что стоял на прикроватной тумбочке, максимально честно сделал «четыре дервишей», без которых уже много лет не мог зарядиться на полноценный день, после чего, совершенно не чувствуя боли старых ран, принял ванну и докрасна растерся полотенцем.

Что еще?

Еще он успел до девяти побриться у фарфорового ручноймыльника, не теряя надежды обнаружить в парике хотя бы один поседевший волос, аккуратно расчесать его, без обычных чертыханий повязать галстук грубым канадским узлом и найти в чемодане куда-то запропастившиеся запонки, подаренные ему Родионом Аркадьевичем в память о вступлении в ложу.

Что еще?

Еще он успел съесть пышный омлет, начиненный крупной дробью зеленого горошка, в ресторанчике гостиницы и выпить маслянистый кофе на углу у бойкого ящеричного вида старика, торговца восточными сладостями и гашишем.

Едва «Регент» Ефимыча отбил девять, он уже стоял на причале, любуясь безмятежной синевой Мраморного моря и прилежно растянувшимся противоположным берегом, напоминавшим вчерашний Константинополь.

А через четверть часа всходил по трапу на низкое суденышко, предварительно убедившись, что именно оно через пару минут отчалит к Принцевым островам.

В Константинополь он прибыл за неделю до переименования города, и, хотя о прибытии его Старику — плотогону из давнишних снов Ефима — доложили, письмо от него со словами: «Буду рад принять Вас на нашем острове завтра в первой половине дня», Ефим получил за сутки до того, как повесился англичанин.

«Я поднимался к себе на третий после встречи со Стариком, когда заметил чуть ли не весь персонал гостиницы, столпившийся возле официально распахнутой двери во главе с администратором».

— Я забыл... я вернулся... я только дверь открыл... — говорил что-то вроде этого, показывая на медную табличку с номером, мальчик-чистильщик обуви.

Не сразу стяхнув оцепенение, всегда медоточивый администратор бросил после сбивчивых слов мальчика что-то резкое. Ефим понял так: велел, чтобы все быстро расходились. После чего, играя янтарными четками, понес свои сто колышущихся килограммов вниз на первый этаж, по всей видимости, дожидаться полиции.

Англичанин готовился к встрече с полицией иначе — висел на крюке под перекошенной люстрой над столом и упавшим стулом так, будто вытек весь до последней жилы из своего благородного, в алебастровой присыпке твида. Непонятно было, каким образом держались еще на нем горевшие черным остроносые «честеры». Под рассеченной бровью англичанина красовался боксерский синяк довольно больших размеров. А вокруг стола все было оплевано. Причем с такой показательной частотой, что не трудно было усмотреть в этом следы какого-то обряда.

«Плевки оттого еще так по-первобытному смотрелись, что пол был навощен до того блеска, который присущ более дворцам и музеям, нежели трехэтажным гостиницам с сомнительной репутацией».

В овальном зеркале приоткрытой створки шифоньера отражалась венская горка, в стекле которой, в свою очередь, отражался кусочек английского твида цвета серого неба. Не сохранилось в зеркале только отражение того, кого должна была искать турецкая полиция.

«Окинув взглядом место преступления, я почему-то подумал о том, кому был нужен этот церемонный королевский проводчик. А еще о том, что вполне мог столкнуться с убийцей в холле, как перед поездкой на острова, так и после, то есть — когда убийство было совершено. Не понимал я только одного — к чему было убийце метить место преступления верблюжьими плевками? Впрочем, восточный люд разве поймешь. Может, таким образом он объявлял о своем решительном разрыве с заблудившейся Европой, а может, выказывал свое отношение к англичанину?»

Поднявшись к себе, Ефим обошел номер, заглянул за занавеси, как делал это в детстве перед сном, показывая младшему братцу, что за тяжелой тканью никого. Выглянул в окно — полиция еще допрашивала свидетелей, а у входа стояли несколько полицейских авто.

Лег на кровать. Раскинул руки. Уставился в потолок, будто там шла фильма с его участием.

Вот он проходит по палубе «Бабелона» — так называлось пришвартованное судно, — разглядывает исподтишка гомонивших пассажиров: ни одного примелькавшегося лица, все вроде как «чисто» на этом пароходике, ну разве что какие-то две дамы в чадрах стоят на корме и лялякают о чем-то своем, многодетном, вернее, одна из них, толстая, лялякает, а другая, высокая, не обделенная привлекательными формами, невнимательно слушает подругу-болтуню — похоже, ее куда больше занимает левый берег.

А что глаза у обеих дам чрезмерно распахнуты, так это может быть чисто его ощущением.

«Когда видишь одни глаза, а о лице лишь догадываешься, кажется, в них, в этих глазах, сосредоточен весь мир».

Ефим это хорошо знал по врачам, скрывающим от пациентов свои лица марлевыми повязками.

«Я по глазам врача, когда лица не вижу, все могу определить. И это все на больничной койке другую цену имеет. Многим гражданским кажется, война — это либо выжил, либо погиб. Походили бы по госпиталям, посмотрели бы на оставшийся в живых фарш, послушали бы ночные завывания».

Может, из-за этих криков, которые даже морфин не брал, он и не пошел по армейской стезе, посчитав бумагомарание во всех смыслах делом более почетным.

«А от гражданской и советско-польской все, что осталось у меня на память, — это сплошные разочарования в жизни, посеченный картечью живот и мой дружок “браунинг” калибра 7.65 с двумя полными обоймами. Деликатный, для сугубо личных нужд. Уж он-то точно не станет человека в куски рвать».

Чайки.

Чайки сопровождали «Бабелон». Пять-семь то по одному борту, то по другому, и столько же за кормой. Пассажиры с энтузиазмом кормили их, чем придется.

Крикливые, длинокрылые, одноглазые сбоку при подлете, они выхватывали еду прямо из их рук, а затем дрались из-за нее в море.

А если еда их более не интересовала, они требовали мзду прожитыми веками и не высказанными словами. Недосмотренными снами. Было в их полете что-то под стать ветру, воде и парусу.

Давно уже остались в белом тумане Айя-София, Голубая мечеть и Галатская башня на высоком холме, а чайки все не отставали, все трудились отгененными снизу крылами. Казалось, они намерены были сопровождать «Бабелон» до самого пункта назначения.

«Какой же длинный, какой долгий Стамбул даже для них, для этих больших и сильных птиц. Тянется вдоль левого берега, и нет ему конца. Не сравнить ни с одним другим городом».

Сколько стран Ефим повидал, пока жил под чужим именем, сколько городов объездил по заданиям газет и журналов, по делам логи. Он мысленно сравнивал их с родной Самарой или предреволюционной Москвой. И всякий раз, оказываясь то в Берлине, то в Праге, то в Риме, спрашивал себя: хотел бы бросить тут якорь? Но все эти города казались ему кладбищами якорей. Что им было до еще одного...

Несколько промежуточных остановок на материке. Одни сходили, другие поднимались на борт. Новые пассажиры смешивались со

старыми, и вскоре те две женщины в чадрах, что обратили на себя внимание Ефима в самом начале поездки, скрылись из виду.

Становилось ветрено. Ефим спустился вниз. Сел на скамейку у иллюминатора.

Вглядываясь в синь моря, рыбацкие суденышки, плывущие в сторону родины облачка, Ефим повторял про себя то, что должен был сказать Старику.

Больше всего ему хотелось поскорее отделаться от цитирований донесений, писем, телефонных разговоров, касавшихся окружения Чопура. Он не мог не понимать, что за одни только эти имена и правду, стоявшую за ними, его могли... Он не думал об этом. Разве станет автомобильный гонщик думать о том, что с ним случиться, если его авто влетит в какое-нибудь дерево на скорости сорок миль в час? Он думал о том, как же легко ему станет, когда он освободится от возложенного на него груза. Скажет себе самому: «Я сделал все, что смог, пусть те, кто сможет, сделают лучше».

Он оглянулся по сторонам — все, в основном, толпились внизу. На палубе было холодно. Ветер на воде — не то, что меж улочек в городе.

Где-то часа через полтора, может час с небольшим, «Бабелон», аккуратно переваливая через довольно приличные волны, добрался до первых островов. Снова несколько промежуточных остановок, после чего судно бочком причалило к Хейбелиаде. Еще несколько минут, и вот она, цель — самой большой из девяти Принцевых островов.

Что говорить, Бююкада был прекрасен и вполне оправдывал свое название — Большой остров.

Холмы его поросли невысокими средиземноморскими соснами и елями, живописные виллы крутых греко-еврейских магнатов и небольшие домишки с пологими крышами красного цвета спускались прямо к медленной бирюзово-топазовой воде, на которой устало покачивались лодки, к тихим, словно заговоренным кем-то невидимым заливчикам. В прогалах зелени, то на одном ярусе, то на другом, виднелись пунктиры выбеленного солнечными лучами серпантина, от одного вида которого ехала крúгом голова. Два-три раскаленных добела отеля, расположенных на первой линии, выбивались из пейзажа своей материковой основательностью, но сильно картины не портили. За их стенами угадывалась сладкая жизнь, вле-

чение к которой испытываешь тем острее, чем дальше оказываешься от родных мест и заветов предков.

Все вокруг как будто застыло во времени, и само время казалось застывшим.

«Так неохота было отводить взгляд от серо-дымчатой косы. Белого маяка с красной шапочкой. Дремлющего на причале рыжего кота с темными лапками, видно, совсем охмелевшего от рыбьего всплеска и прямых солнечных лучей. Стоял бы и стоял так, прислушиваясь к бредятине чаек. Хотя почему к бредятине, может, к преданию веков?»

Подле пристани у Ефима по сторонам глянуть времени не было — мигом оказался в фаэтоне с двумя молодыми дюжими парнями из охраны Старика, даже не пытавшимися с ним заговорить. Успел только сказать им на причале три кодовых слова на русском, разделенных двумя четырехзначными числами, после чего представиться и пожать руки. (И то, и другое носило чисто формальный характер и оттого сразу показалось лишним.)

Только в какой-то момент один из парней, тот, что сидел лицом к нему и спиной к вознице, все же спросил его: были ли вон те две женщины в чадрах, что сейчас едут за их фаэтоном, на «Бабелоне»? Ефим ответил ему, что обе дамы на судне были и что сели они в Стамбуле. Но это обстоятельство, как и то, что одна из них странно подсасывала ртом воздух за чадрую — от ветра чадра прилипала к ее рту — напрочь вылетело из головы Ефима, едва он увидел Красного демона революции.

Глава первая

МАРА

Белое солнце с колониальным шиком заливало белый Губернаторский дворец. (Бывший Губернаторский, разумеется.) Запыленные деревья трепетали и кланялись низко, нигде так не напоминая людей, как здесь — в Баку.

А ветер — как Мара обещала: «Нарвешься на Хазара — берегись!»

Ладно, облака рвутся в клочья — к тому привыкшие, но птицы, как они его выдерживают?! Вон тех голубей, что по небу раскидало, кто выпустил? Дикие, что ли? Как Хазар не подбил их до сих пор в полете?

Люди, облепляемые порывами ветра до последнего кусочка одежды, то вверх неслись, то вниз, то, едва поспевая за собственными ногами, будто поднимались над землю, замирали на миг, что те, готовые умереть в небе голуби, и опускались мимо тротуара, едва не попадая под колеса авто и фаэтонов, которые всяко материли их — и ржанием, и клаксонами, и свирепыми мстительными голосами.

А одна женщина в чадре, миновав угол дома, вдруг встала намертво, точно перед стеной. Ветер треплет, раздувает ее чадру. Вот-вот и сорвет. Пока Хазар-ветер не помял женщину хорошенько спереди и сзади, не разрешил ей идти. И только отпустил несчастную, как вырвал из общего числа несущихся, остановившихся и летящих другого, никому неизвестного человека. Не на шутку схватился с ним: расшатав выдавший виды чемодан в его руке, вскинул футляр с трофейной печатной машинкой, а после подбросил и его самого. Затем аккуратно поставил на ноги, как выздоравливающего, и тут же погнал на нежных хазарских рессорах до самого Губернаторского парка. Того гляди сорвет с головы парик — несись потом по волнам горячего воздуха, стелющегося над асфальтом, то ли за париком, то ли за Хазаром.

Мара, конечно, рассказывала ему о беспощадном, выжигающем все вокруг солнце, о бешеных ветрах, в особенности на углах и пересечениях: «Бакинские пейзажи без ветра не имеют энергии»; но одно дело, когда тебя предупреждает бывшая гражданская жена — нынешняя гражданская война, — и другое, когда ты уже в раскаленной, воющей трубами судного дня печи знойного бакинского дня.

Однако стоило неизвестному пройти долгим парком насквозь и оказаться за древней стеной во Внутреннем городе, который Мара называла по-здешнему — Ичери-Шехер, как сразу куда-то подевались и ветер, и жара, и адский гул в ушах.

Тихие и узкие улицы напоминали запутанный лабиринт. Было бы проще в этих «крепостных» краях найти Минотавра, нежели Замковую площадь. Проще было бы спросить о ее местонахождении какого-нибудь доблестного кота, или чей-то голос за камнем, или подранный чарыг, прикорнувший у стоптанного порога. Было бы проще, если бы он не чувствовал себя замурованным в узеньких улочках.

Изрядно поплутав (не без того, конечно), неизвестный вышел на Замковую площадь, которая никакой площадью не была, но лишь пя-

тачком в виде замка со старой чинарой в центре. Нашел он вскоре и дом, в котором Мара через бакинскую подругу «в кратчайшие сроки зарезервировала» для него «роскошную» комнату: «Дансинг с двумя окнами и балконом на море. И не говори, что я о тебе не забочусь...»

«Конечно, заботишься, я ведь не забыл, как ты сказала, когда уходила, что не хочешь раскаиваться, а поэтому не сделаешь ничего такого, после чего нельзя было бы вернуться».

Человек поставил чемодан на черную брусчатку с жирным пятном возле стены дома. Огляделся. Легонько надавил на обшарпанную, узенькую, под стать тянувшейся вниз к морю улице дверь, за которой оказался маленький пыльный дворик, полный чужих секретов и незнакомых запахов.

Десять шагов в одну сторону, десять в другую — расстрельная дистанция.

Горбатые, кое-где вздыбленные плиты под ногами. Почерневшая тандырная печь. Небезопасная деревянная лестница, на которой обменивались снами разномастные кошки, готовые расстаться с жизнью в том случае, если кто-то их потревожит, вела к входу в галерею, тянувшуюся по всему периметру двора.

Латунный кран, из которого набегала в лохань вода для стирки, напомнил ему о жажде; галереи с маленькими тусклыми оконцами посоветовали быть крайне осторожным: мир прозрачен, утаить что-либо невозможно, а бельевые веревки, провисшие под тяжестью сырых пододеяльников, намекнули, что судеб легких не бывает в принципе.

Все в этом дворике, включая запахи смолы, керосина и кошек, графин с глубоководной долькой лимона, ожерелье из бельевых прищепок на гвозде, вбитом в один из растрескавшихся столбов, подпирающих галерею, говорило о том Востоке, который ничего не слышал о Западе.

Сухая маленькая старуха, сидя на низеньком табурете с широко расставленными костлявыми ногами, сбивала шерсть палкой-тростью. И, кажется, делала она это давно. Несколько веков.

— Ты кто? — обратилась к человеку с чемоданом и австрийской печатной машинкой в руках.

Он хотел сказать ей: «Салам», — как учила его Мара, но вместо того лишь кивнул и поправил парик.

Старуха посмотрела на него тем удивленным взглядом, каким ночная улица разглядывает единственного пешехода.

Он удовлетворил ее любопытство отчасти: за сотню прожитых лет старуха так и не выучилась говорить по-русски. Тем не менее, что-то из того, что он ей сказал, она поняла, иначе не позвала бы хозяина. (А может, в роли толмача выступил его чемодан с наклейками, сорвать которые в целях безопасности так и не удалось, или печатная машинка в черном футляре с полустертой надписью золотом — «Karpel».)

— Керим, Керим, ай, Ке-р-р-им!.. — Старуха, отложив в сторону трость, уставилась в открытое окно на втором этаже.

В ответ — поскрипывающая и потрескивающая тишина.

Керим не особо спешил.

Взгляд из-под кепки такой, будто его только что оторвали от домашней бухгалтерии. Глаза непроницаемые, с какими-то красноватыми отблесками.

— Ефим? От Мары? — Вышел на веранду, заметно прихрамывая. — Ай, дорогой, поднимайся сюда, да... Зачем стоишь, э? Давай, давай, давно тебе ждали. Наверное, свою дорогу с чужой спутал. — И тут же тебе и дерг, и хлоп, и клоунское ковыляние навстречу — все Керим сделал, чтобы показать, какой чести удостоен и радости преисполнен.

А старуха:

— Ефим-Мифим, — затащила вновь прибывшего в свое дремучее, коричневатое-желтое от хны и никотина царство, пригубила провалившимся ртом остатки чая из стакана грушевидной формы и давай от всей своей легковесной души колотить по шерсти, прошивать грубой нитью воздух — «шью-шью-шью»...

Он поднялся по той самой скрипучей лестнице, облюбованной кошками, стараясь не задеть ни одну из них, сначала на второй этаж — один, а на третий — уже с Керимом.

«Обычно так хромают те, у кого в ноге полно плавающих осколков, — почему-то подумал Ефим, — интересно, на какой войне побывал Керим?»

На площадке третьего этажа они повстречались с толстым человеком в такой же, как у Керима, плоской кепке, только ткань была «ёлочка». Керим поклонился толстяку с вроде обычной восточной биографией так, как если бы тот был шейхом.

В ответ толстяк-шейх плюнул себе под кремовые туфли с лакированными коричневыми вставками на носках. Он прошел мимо Ефима, задев коленом футляр с печатной машинкой.

— Можно было бы и извиниться. — Ефим проводил толстяка взглядом, а потом добавил: — Наверное, ему не следовало жениться. Взял в жены иноверку и годами ругается с ней на чужом языке. А это сильно изматывает.

— Не обращай внимания, ага. — Керим направил свою палочку для ходьбы на спускающегося по лестнице толстяка, сделал: — Кх-х-х...

— Квартирант, что ли? — Керим не ответил Ефиму. — А ведет себя, как пузатый безобразный бог.

Пузатый безобразный бог в кремовых штиблетах шуганул кошек на лестнице, мимо которых так осторожно прошел Ефимыч, что-то бросил небрежно старухе и вышел со двора.

Только после того, как он скрылся, Керим достал ключ из кармана широченных, не знакомых с утюгом брюк, вставил его в узкую дверь, провернул дважды, но открывать не стал, предоставив это право квартиранту.

А тот, прежде чем толкнуть дверь, сказал еле слышно:

— По воле тех, кто правит миром.

Керим бормотания Ефима принял на свой счет, заметил осторожно:

— Только туалет внизу будет, ага, а ванна, который у вас в Москве душ называется, у меня во втором этаже стоит, — и задумчиво почесал голову через плоскую кепку длинным отполированным ногтем, украшавшим мизинец.

Обсудив сроки оплаты жилья и немаловажный вопрос столования, человек в парике закрыл за Керимом дверь. И только щелкнул с заминкой замок, как Ефиму сразу же захотелось сделать какое-то дикое африканское движение, с помощью которого он мог бы отсечь то, что тяготило его последнее время.

Ефим дал Кериму возможность хорошенько изучить себя через замочную скважину, после чего, улыбнувшись, подошел к столу, процитировал любимого негритянского поэта: «И когда пыль сядет на все вещи в моей комнате и мне надоест ее сметать, я разорву сердце, как бомбу, и куплю на вокзале билет», — после чего, точно шаман перед вверенным ему свыше племенем, одним движением рванул со стола скатерть.

— Вах!.. — послышалось за дверью.

Кроме настенного календаря, на скатерти не лежало ничего. Подняв упавший на пол календарь, Ефим подумал, что на столе тот, ве-

роятно, оказался неслучайно. О восточной хитрости Мара его тоже предупреждала.

«Наверняка Керим положил календарь специально, — подумал он, — чтобы я запомнил, когда въехал, и впредь не забывал о сроках оплаты».

Ефимыч оторвал календарный листок, скомкал, подошел к двери и забил замочную скважину одним жарким майским днем 1936 года.

— Чтобы не подглядывал! — бросил через дверь.

Керим оказался не без юмора: удаляясь от ослепшей двери в криковую припрыжку, запел тенорком, прищелкивая в ритм пальцами: «На одном ветку попугаю сидит, на другом ветку ему маму сидит. Она ему лубит, она ему мат, она ему хочет немного обнимат!»

У разжившегося деньгами Керима настроение было явно приподнятым. Чего нельзя было сказать о новом жильце.

Ефим толком даже не рассмотрел комнату. Со словами «талантливый народец, с таким за полгода национальный кинематограф можно поднять», подошел к рукомоЙнику, над которым висело зеркало с радужным отколом в углу. Разглядывая в зеркале отросшую щетину, подумал: «Теперь я точно один». Оголил лоб, сдвинув парик на затылок. «Ну, здравствуй, Фимка, он же Войцех! В этих ветреных жарких краях ты еще не бывал. Порадуйся случаю».

На вид нуждающемуся в парике Ефиму Ефимовичу Милькину можно было дать не больше тридцати-тридцати двух лет. По крайней мере, зеркало против такого предположения не возражало, однако дальше гадать заупрявилось и больше того, что он — человек рискованный, рассказать не пожелало. Но это и так было понятно. Как было понятно и то, почему именно такие «рисковые люди» исчезают сейчас в первую очередь. В особенности те из них, у кого за плечами армейское или эмигрантское прошлое.

Ефим достал «Каррел» из футляра, бережно поставил машинку на стол. Снял широкоплечий и сутуловатый пиджак, который сегодня в этом городе оказался полезен разве что своими карманами, аккуратно повесил на спинку стула и, довольный, вышел на балкон.

Если бы не минарет рядом, который с криком облетали чайки, если бы не низенькие дома с плоскими черными крышами, прижатые вплотную друг к другу («так вот, оказывается, почему ветер здесь не гуляет»), море вдаль в белых солнечных бляшках и, главное, — почерневшая от времени Девичья башня с зиккуратским ци-

линдром сбоку, если бы не весь этот Восток, воскликнул бы в душе: «Аркадия, просто Аркадия!..»

Вдруг очень захотелось курить. А еще — выпить кофе. Маслянистого, турецкого. Ну, хорошо, если кофе нет — бурого чая, такого же, какой подают в Стамбуле в чайхане на рынке, что неподалеку от мечети Фатих. Чай вприкуску с рахат-лукумом, сухим инжиром или с изюмом. Какой он пил еще до того, как отправиться на Принцевы острова. Но сначала — курить!

Ефим вернулся в комнату.

Достал из бокового кармана пиджака кожаный портсигар. Вытащил папиросу. Подержал вертикально, прокатил по портсигару, продул и закурил. Прихватив с собою вместительную пепельницу, которую его дядя, большой партийный деятель и мастер стряхивать пепел на карту всей страны, непременно назвал бы «шлимазальницей», снова вышел на балкон.

Самыми устойчивыми зданиями отсюда казались мечети. Тянувшиеся вверх минареты, отличались от стамбульских. В Стамбуле они были похожи на стрелы, нацеленные в небо, а здесь — на маяки. Здесь — бухта серповидная, а там ровно тянулась до Принцевых островов. Море у турок какое-то византийское, темно-синее, с благородным перекатом волн, а у азерийцев — языческое, давно нечесаное, словно шерсть волкодава, в которой запутались мелкие суденышки и серые военные корабли. Только кошки были такие же, как в Стамбуле, — непоколебимые в своей кошачьей правоте. Прежде чем решить какой-то сложный уличный вопрос, они объединялись в партии.

«Похоже, Баку — такой же город кошек, как и Стамбул. Что ж, оно и правильно, никто так, как кошки, не дает тебе понять, что глупо думать, будто это ты изобретаешь время и место встреч. Ты еще ждешь аплодисментов за очередное свое прозрение, а кошка уже популярно объясняет тебе, что с тобой случилось то, что случается со всеми во все времена».

Больше двух суток в поезде отдавали нестерпимой болью в животе. Когда он подолгу сидел или лежал, можно было сосчитать все его старые раны. Именно поэтому Ефима нельзя было удерживать дома. Он говорил, шутя, Маре, что даже пишет на ходу.

Мара!..

Как нежно «ходила» она двумя своими человеко-пальчиками по его польским шрамам в самом начале их романа: «Один Фим, два Фима,

три Ефим-Ефима...» — и вот он уже ловил себя на том, что засыпает. Он всегда считал, что мужчина в постели с женщиной должен заслужить право на сон. Что женщина должна уснуть первой и проснуться второй. Но с Маргаритой все было иначе — граница между сном и явью оставалась неуловимой даже тогда, когда она ночевала вне дома.

Как там она писала: «Я намерена говорить с тобой так, как пристало говорить с женщиной и с человеком, с которым я прожила пять лет. Тема нашего разговора настолько серьезна, что припудривать и присахаривать его я сочла бы ханжеством и трусостью, унизившей бы и тебя, и меня».

Вот в этой чеканке слов уже вся Маргарита Александровна...

«Господи, Мара, Мара, как же с тобой тяжело, а без тебя еще тяжелей».

— Керим! — крикнул он вниз, ловя себя на том, что уже обращается к нему, как к ординарцу.

— Керим! Ай, Керим! — отозвалась эхом старуха.

— Ага, что надо тебе? — высунулся снизу Керим, из того самого окна, в котором мелькнул при первой встрече, когда Ефим подумал, что тот растворился в вечности.

— А чаю можешь мне дать?

— Почему нет.

И шею так изогнул, что Ефиму за него страшно стало.

— Почему, не знаю. — Ефимыч уловил из окна стелющийся сладковатый запах шмали: «Вот же, каналья одноногая». — С изюмом можешь?

— Почему нет.

Заладил, бестия.

«Вечно мне везет на этих шашлычных людей».

Когда Керим принес небольшой чайник и грушевидной формы стаканчик на щербатом блюде, Ефим, дабы как-то поддержать разговор, спросил его:

— Что есть, Керим, в вашем городе интересного посмотреть?

— В нашем городе все есть интересное посмотреть. — Сдвинул кепку на затылок, обнажил морщинистый лоб не особо мудрого морского ящера.

Ефим успел разглядеть на его левой руке запутавшийся в седых волосах якорь порохового цвета.

— Ну, надо же.

— Да-а-а, — сощуренные красные глаза ненадолго распахнулись, когда он развел худющими, в седых колечках волос руками. — Надо-надо... Смотришь много, видишь много... Женщин видишь — не подходи.

— Это почему же?

— Женщин всегда чья-то есть. Мужа есть, отца есть, брата есть... — Потянулся так, точно стоял на трех лапах.

— Ну, надо же, — повторил Ефим. — А что там за остров вдалеке?

— Остров? — Керим соорудил такую гримасу, будто ему нужно было немедленно пересчитать все волны Каспия.

— Да, остров.

— На этот остров, ага, лучше не смотри. — Керим перечеркнул остров палкой для ходьбы.

— К женщинам не подходи, на остров не смотри...

— В нашем городе на этот остров никто не смотрит.

— Как же на него не смотреть, если он прямо посреди бухты?

— Ниже смотришь — море будет, выше смотришь — небо будет. Мало тебе, ага? Дела у меня. Пойду я, хорошо? — ответил Керим, побелев.

«Так вот, значит, как бледнеют обкуренные лукавцы в затрапезных майках-тельняшках».

— Сначала вынеси столик на балкон, буду пить чай и смотреть на остров.

Керим неодобрительно качнул маленькой головой в большой черной кепке, посмотрел на Ефима так, будто тот соизволил вызвать на дом палача с топором, но столик все-таки перенес.

Солнце встряхивало лучами, стреляло вспышками из-за покачивающейся старой чинары, скрывавшей от него полукруг бульварной ленты. Клубы пыли носились на разной высоте по неровному, плотно застроенному пространству.

Когда он сделал глоток чая, ему показалось, что и чай такой же пыльный, как весь этот город. Этот Баку, сидевший в нем занозой все то время, что он был влюблен в Мару.

Казалось, единственным, на чем не оседала пыль, было море, и то — *где-то там, где-то вдалеке*, на подходе к острову.

«Значит, это и есть тот самый Лысый остров, про который Мара говорила: “Сколько людей там полегло, и сколько еще ляжет”». Выходит, Чопур и сюда добрался. Хотя, чего ему было до Баку доби-

раться — он отсюда свою одиссею и начал. Это первый захваченный им город. Здесь, на Волчьих воротах и в Баиловской тюрьме, на конспиративных квартирах и в типографии «Нина» Чопур вынес для себя главный урок: человечество — пустое слово, баранина в укусе с колечками лука. Ему нужно только то, что соберет человечество в стадо — далекая пастбищная греза. А от тех, кто не поверит в зеленую траву, растущую где-то там, на чужих холмах, не пожелает стать сочной бараниной, следует избавляться — расстреливать на островах. Их много, островов, на всех хватит, кто свое «нет» посмеет сказать. А если вдруг не будет хватать, можно искусственные острова создать — в тайге, например, или в пустыне, все равно из чувства страха большинство предпочтет про эти острова не знать.

Ефим смотрел на тоненькую синюю полосу земли, за которой открывалось настоящее море. И греза у него была своя, не Чопуром составленная, а большими городами, в которых он побывал.

Ефим спросил себя, мог ли он оказаться в родном городе Маргариты раньше Вены, Ниццы, Парижа, Стамбула. Подумав, решил, что нет. Он должен был пройти через то, что прошел, увидеть то, что увидел, прежде чем дядя Натан через Соломона Новогрудского не помог ему вернуться в СССР.

Переход советско-польской границы неподалеку от места, которому он был обязан поворотом в своей судьбе, стал концом одной эры и началом другой. Сколько раз спрашивал он себя впоследствии, зачем вернулся, и всегда отвечал по-разному.

Наиболее правдивым ему самому казался тот ответ, что сильнее прочих подталкивал в спину: «Мы никому там не нужны».

«А здесь? Кому ты нужен здесь, черт лохматый тебя подери? Чопуровской расстрельной команде?»

Он смотрел на остров посреди Каспия, и у него не возникало никакого желания вести счет бесчисленным преступлениям Чопура, чтобы когда-нибудь вместе со всей страной предъявить их ему, после чего отправить за пределы здешнего мира в черную межзвездную пустошь Вечности. Нет, сейчас у него не было никакого желания мстить. Почему-то сегодня ему было легче отказаться от самого себя, как это делали многие перед тем, как их заглатывал Чопур. Впрочем, после второй папиросы и второго стакана крепчайшего чая с чабрецом он счел это свое душевное состояние временным, вызванным отчасти усталостью, отчасти — болью старых ран. Ему, бежавшему

теперь уже из Москвы — после того, как взяли дядю Натана, — разумнее было бы не думать о Чопуре, вообще не думать пока о том, что происходит сейчас в стране. По крайней мере, в Баку — городе, который он выбрал для своего временного исчезновения.

О чем же разумнее было подумать? Возможно, о том, что для души полезнее то, что ближе сердцу.

И снова он вспомнил о Маре, и в памяти снова всплыло ее письмо — одно из последних в их столичной переписке, с помощью которой они водили за нос чопуровских ищеек. Иногда в этих письмах проскальзывало что-то очень личное и трогательное, понятное лишь им самим.

Маргарита писала, что не умывается уже пятый день — «нельзя же назвать умыванием помазок по лицу и рукам», — что раковина коммунальная, в коммунальном проходе перед коммунальной уборной — «раздеться и думать нечего», — а в комнате нельзя, так как все вещи уложены и нельзя возиться с тяжестями — доставать таз. Нельзя, нельзя, нельзя... «Мой чемодан у тебя, а там мое белье. Надо поехать к тебе на Фурманный и перевезти его сюда. Но перевезти — это значит молчаливо вселиться к людям, которые из деликатности не будут протестовать».

И что он мог на все это ответить, что она по-прежнему неправомерно близкий ему человек? Что Баку — большой город, и люди здесь не ходят на вокзал, чтобы погулять, как это делают в провинциальных каштановых городках?

«...Так она это и сама знает не хуже меня, как и то, что *“мухи вьются у окна потому, что им улететь хочется”*».

«Регент» пробил час. Пора было принять ванну, «которая в Москве душ называется».

«Ровно в три я должен явиться на “Азерфильм”. Мара уверяла меня, что отсюда до кинофабрики чуть более получаса пешком, если, конечно, правильно выйти из Крепости. Но у Мары такие сложные взаимоотношения со временем — сколько ее знаю, всегда она опаздывает на эти самые полчаса. Когда мы жили вместе, я даже пробовал переводить стрелки домашних часов на двадцать-тридцать минут вперед, — все напрасно».

Он думал выйти с запасом — все-таки будет ждать женщина, красивая женщина, актриса, а ждать пришлось ему.

Ефим то и дело доставал из кармана часы, а когда понял, что Фатима, подруга Мары, по всей вероятности, уже не придет, отправил-ся на встречу с киночиновником сам.

Теперь вся надежда была исключительно на рекомендательное письмо. Но насколько верный тон был взят Марой для этого письма? Не вскрывать же его.

Самое интересное, что в азербайджанский Голливуд он проник без каких-либо сложностей и долгих объяснений.

«Просто прошел вертушку, назвал свою фамилию вахтеру, сказал, что меня ждут. Кто? Семен Израилевич... Израфил».

Израфил — такое прозвище когда-то придумала ему Мара. Вахтер даже не справился по служебному телефону, чтобы проверить. А еще говорят, что в этой стране кинематограф охраняется почище, чем секретные заводы и шлюзы.

Кабинет заместителя директора Ефим нашел сравнительно быстро. А вот перед кабинетом застрял. Посидел, наверное, с четверть часа, прежде чем строгая секретарша в такой зауженной юбке, что лучше бы ей не поворачиваться к мужчинам спиной, запустила его к Семену Израилевичу.

Когда Ефимыч зашел в кабинет, Семен Израилевич поливал цветы на подоконнике. Делал он это довольно-таки странным способом, а именно — окунал тряпочку в миску, после чего аккуратно выжимал ее над цветами.

Вот так вот, до последней капельки, аж кулачки забелели. Бедная вода!

«Неужели все то время, что я ждал, Израфил проливал дожди над своими джунглями?» — подумал Ефим, поздоровавшись.

Семен Израилевич удивил его еще и тем, что был точной копией товарища Луначарского — такая же большая голова, такой же лоб с залысинами, пенсне на носу, борода клинышком. По-видимому, их выпиливали и вытачивали в одной партийной мастерской.

— Присаживайтесь, — разрешил Ефиму Израфил, предваритель-но романтично попрощавшись с расцветшей фиалкой и вытерев обе руки о другую, на сей раз уже сухую тряпочку. — Слушаю вас, товарищ Милькин.

— Я от Мары, — сказал Ефимыч.

— Так... — Израфил опустил засученные рукава белой рубашки и застегнул манжеты. — Еще раз...

— Я от Маргариты Александровны Барской, — повторил как можно медленнее Ефим.

— Барской?! — пробасил Луначарский, побарабанил пальцами по растекшемуся бедру и надолго задумался.

— Ничего такого, — попробовал пошутить Ефим, — просто еврейская фамилия. Знаете ли, с евреями такое случается...

— С евреями и не такое случается. — Семен Израилевич хитро улыбнулся. Настоящая фамилия Семена Израилевича была Соловейчик и располагала к шуткам разного свойства не меньше. Он откинулся на спинку стула и соединил подушечками пальцы обеих рук. — Дальше. Слушаю...

— Мы с Фатимой Таировой собирались к вам вместе зайти, но она почему-то не пришла.

Как только он это сказал, ему показалось, что плечи Семена Израилевича слегка обмякли и просели. Он глянул сначала на дверь, за которой находилась крутобедрая секретарша, потом с тоской на коробку «Явы», лежавшую поверх стопки с папками. Потянулся к ней. Передумал. Снова потянулся, на сей раз как-то очень попатрициански, будто древнеримская аристократия предпочитала курить папиросы «Ява» и никакие другие.

— В этом городе все так быстро меняется, — торопливо нарисовал Ефимычу петлю спичкой.

До Ефима мгновенно долетел запах серы.

— Если бы еще знать, в какую сторону. — Он протянул Семену Израилевичу письмо.

— С тех пор, как Хавка надкусила райское яблоко, и спрашивать нечего — вопрос риторический.

Израфил вскрыл письмо бронзовым канцелярским ножом с навершием в виде какой-то египетской богини, поднявшей руки тыльной стороной кистей вверх. Сделал «П-ф-ф», перекатил папиросу в угол влажного семитского рта и еще раз внимательно посмотрел на дверь.

Ему нужна была эта пауза.

Прочтению письма также предшествовала прелюдия из трех осторожных взглядов на парик Ефима.

«К взглядам подобного рода я давно привык. В таких случаях мне всегда хочется сказать: да, это парик! С тех пор, как я перешел советско-польскую границу, я предпочитаю жить в парике. Считайте это моей большой странностью».

Читал Семен Израилевич, то собирая, то распуская губы, то хмурия, то расправляя брови имени Луначарского. Как-то раз даже вышло у него лучисто улыбнуться в бумагу. Угадывалось в тот момент: «Ах, Мара, Мара!..» Он часто затягивался папиросой, которую держал глубоко меж изуродованных подагрой пальцев, отчего выходило у него при затяжке закрывать ладонью нижнюю часть лица.

Пока Израфил читал, Ефим посматривал на портреты Чопура и Мир Джафара Багирова³, которых разделял сейчас восходивший к потолку фиолетовый фимиам.

«Кажется, оба они уже знают, что я в Баку. Знают, когда приехал, где остановился, да что там — знают даже, что я сижу сейчас в кабинете у Семена Израилевича Соловейчика».

— Как же, помню-помню я вашу Мару, — оживился неожиданно Семен Израилевич, дочитав письмо и складывая его в два раза перед тем, как положить поверх конверта.

Он будто пытался определить для себя, до какой степени может быть откровенным с Ефимом.

— Девицей еще помню. В беретике таком беленьком со стручком наверху. В белой блузке с синим галстуком. Всегда наша Барская против ветра шла... — говорил он так же быстро, как Луначарский. — Еще журнал «Кино» за прошлый год читал, ба... а там Горький с Роменом Роланом нашей Марочке, можно сказать, в любви объясняются.

— Было такое, — подтвердил Ефим.

— Да еще как!

Ефим еще раз подтвердил, уронив к груди подбородок.

— Пудовкин, Довженко, Шуб... А вы, простите, кем Маре будете? — хитро голову склонил, и Ефим понял, насколько это для Израфила важно.

— Я полагал, в письме об этом написано, — бросил на удачу.

— Ах, да... — Кинодеятель посмотрел в сторону зарослей на подоконнике, сфокусировал взгляд на любимице-фиалке, — Верно. Простите, годы. К тому же в этом городе, знаете ли, ветра так быстро все меняют. — Снова посмотрел на обитую дерматином дверь. — Сейчас Гилавар дует, а через полчаса — накрывает хазарский.

³ Мир Джафар Багиров — (1985-1956) советский и азербайджанский партийный и государственный деятель, руководитель органов госбезопасности Азербайджана (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД), народный комиссар внутренних дел Азербайджанской ССР (1921—1927), Председатель Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР (1932—1933).

— Я в Баку впервые.

— Бросьте, товарищ Милькин. — И стекла пенсне киночиновника озарило Северное сияние. Через стол повеяло запахом хвои, вдалеке слышались стук топоров и падение деревьев под лай конвойных собак. — Вы ведь знаете, что я сейчас не о том с вами.

— Знаю, — Ефим сглотнул слюну. Горькую-горькую, неизвестно отчего. Хотя, почему неизвестно? Еще как известно.

Ефим взглянул на прищурившегося на портрете Чопура, и тот показался ему каким-то очень кавказским, чрезмерно шашлычным, совершенно не похожим на того Чопура, изображениями которого были облеплены все районы Москвы.

Выдержав начальственную паузу, Израфил решительно нарисовал в пепельнице круг папирсой, после чего так же решительно ввинтил ее в центр круга — он все для себя решил.

— Будет вам с кем «поднимать национальный кинематограф». Есть тут у нас на прицеле один юный товарищ с тремя классами образования и соответствующими партийными убеждениями, сверху пришло указание в кратчайшие сроки сделать из него Шекспира.

— Да, это сейчас модно, — Ефим хотел показаться киночиновнику небрежным и слегка циничным. — Надеюсь, все же бригадным методом?

— Ну, разумеется. Будете писать за него сценарии в компании с замечательными талантливыми людьми.

— А нельзя ли обратиться в Шекспира какую-нибудь местную юницу, сбросившую чадру?

— Товарищ Милькин, — напустил строгость во взгляде, пригрозил подагрическим пальцем, — вы не совсем хорошо представляете себе, куда приехали. Тут вам не Москва, любезный, — «гм-гм...» в кулак. — Да, кстати, а что вы уже сделали для своего, так сказать, могильного камня?

— Для своего могильного камня я недавно окончил пьесу в девяти картинах, опубликована в издательстве «Художественная литература», право первой постановки в Москве принадлежит театру ВЦСПС. Издаю сборник из семи рассказов. Сейчас пишу роман.

Израфил оживился.

— Будет чем украсить камень. Давайте поступим так, — задумался. — Сегодня у нас, кажется, пятница. В понедельник, а лучше во вторник жду вас в это же время. И учтите, в нашем городе...

— Я учту.

— Сделайте одолжение, голубчик. Марочке приветы, если будете ей телеграфировать. Рад, что не забыла старика.

Он вышел из-за стола. Ефим отметил про себя его атлетическую грудь и вялые дамские бедра. Израфил проводил Ефима до самой двери и сам же на нее надавил. Едва он это сделал, как сразу же раздался пулеметный стук печатной машинки.

— Вы, товарищ Милькин, у нас человек партийный? — спросил Израфил практически на пороге так громко, будто Ефим был тут на оба уха. — Ну, вот и замечательно. В высшей степени замечательно! И красный командир в прошлом... Прекрасно, товарищ Милькин. Просто прекрасно!

Ефим вышел из кабинета.

Секретарша — глаза опоссума, уши Багирова — встала, вытянулась во весь рост.

— До свиданья, товарищ Милькин.

«Интересно, Израфил с ней спит? Если “да” — это опасная игра».

Посидев в азерфильмовской курилке вместе с Генрихом IV, сосредоточившимся на чем-то своем, шекспировском, он решил, как будет действовать: домой к Фатиме не ходить, хотя Мара и снабдила его ее адресом, а отправиться сразу в театр.

«Отсюда до Бакинского рабочего театра, как уверяла меня Мара, не больше получаса ходьбы: “Если вдруг заплутаешь, спроси, как пройти к Молоканскому саду или к дому Высоцкого”».

Он вспомнил их первую встречу с Марой — шесть лет назад, в мастерской Александра Гринберга⁴.

На вечеринку Ефима зазвал Иосиф Уткин. Опоздав на полчаса, Уткин явился к месту их встречи на Триумфальной с двумя довольно экстравагантными поклонницами в огромных шубах, одна из которых, бывшая жена большого чекиста, по дороге положила свой оловянный глаз на Ефима.

Тяжелые шубы дамы носили так, будто под ними ничего не было. «Эх, кабы не Гринберг, такое бы звуковое кино отсняли!» — улучив момент, мечтательно бросил в сторону Иосиф. Ефим предложил не ходить к Гринбергу, а поехать к нему в Фурманский переулок, в ответ

⁴ Александр (Абрам) Данилович Гринберг (1885—1979) — классик советской фотографии, член Русского фотографического общества. Кинооператор.

Иосиф начал декламировать свое: *«Потолчем водицу в ступе, Надоест, глядишь, толочь — Потеснимся и уступим Молодым скамью и ночь».*

Дамы тут же вскинулись, начали просить, чтобы Иосиф прочел хотя бы еще кусочек — вот у того столба или у той самой скамейки, которую он только что хотел им уступить.

Уткина долго упрашивать не надо было, через мгновение он уже стоял на скамейке: *«Много дорог, много, Столько же, сколько глаз! И от нас До бога, Как от бога До нас».*

Когда уже после прочтения «Мотэля»⁵ компания завалилась с морозу к Гринбергу, там уже гуляли Файт с Кравченко, Тиссе, Поташинский и Александров, наконец-таки обретший во Франции давно чаемый экранный голос. Пили заоконную ледяную водку и привезенный Александровым из Франции бархатный арманьяк.

Бренди был на редкость деликатный, десятилетней давности, и как-то само собою вышло, что начали вспоминать лихие двадцатые, когда об арманьяке и мечтать-то никто не смел.

Гринберг вспомнил эпидемию тифа, одесские времена и Петра Чардынина⁶. Маргарита, на которую Ефим обратил внимание сразу, как только пришел к Гринбергу, была какой-то особенной, по-женски долговечной, как статуи богинь, с такими прощаются всю жизнь с первой же встречи, высказалась в том духе, что, мол, чудесный человек Чардынин, вне всякого сомнения.

— Старый могиканин, — глаза вспыхнули, обнажили давнее запретное, — умел направлять жар с влажных простыней «в наружу жизни».

Только когда заговорили о фотографиях Гринберга одесской поры, Ефим понял, что Маргарита в свое время была женой Чардынина. Она вспомнила их первую с Чардыниным встречу на студии Всеукраинского фотокиноуправления:

— ...волосы густые, с сильной проседью... И голосом весь мир сдвигает вместе с тобой.

Хозяин достал несколько фотографических работ двадцатых годов. На некоторых из них Ефим с удивлением узнал Маргариту. Все

⁵ Имеется в виду произведение Иосифа Уткина «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайте и комиссаре Блох» (1924—1925).

⁶ Петр Чардынин (1873—1934) — русский актер и кинорежиссер эпохи немого кино. Второй муж М.А. Барской.

немедленно принялись восхищаться гринберговскими моделями, и в особенности Маргаритой: Маргаритой на фотографиях и Маргаритой с бокалом арманьяка в руке.

Кто-то — Ефим не помнил уже, кто именно — сказал, что женщины тех лет, изнеженные, томные роковые красавицы, по-настоящему сексуальны, не то, что нынешние, с их стремлением к образу доисторической женщины. И тогда Маргарита услышала его красивый низкий голос. Правда, он мир не сдвигал, но ей показалось, это было делом времени.

— Разве может быть возвращение к доисторическому образу *не* сексуальным? Разве комсомолочка из Хивы, немытая, с растительностью в неположенных местах, менее сексуальна, чем героини «мирискуссников»?

Уткин поинтересовался, далеко ли Хива от Москвы и предложил выпить за нечесаную комсомолочку.

Бывшая жена большого чекиста, та самая, которой понравился Ефим, от возбуждения покрылась красными пятнами.

За гринберговских моделей незамедлительно вступился Александров:

— Право же, не стоит делать из дейнековской текстильщицы «Мадонну Бенуа». Во-первых, не получится, во-вторых, дорого вам встанет.

Маргарита попросила познакомить ее с Ефимом: «Кто такой? Откуда?» В отместку его представили ей как племянника «того самого Натана». Ефим был этим раздосадован, но вида не подал.

В черном парике и в серой парижской двойке, не слишком высокий, но с очень широкими плечами и глазами светло-зеленого цвета, он сразу произвел впечатление на кинодиву. И хоть Ефимыч считал, что зима — не лучшее время для смены партнерш: столько всего сверху на них, что и не разберешь, та ли эта самая, которой можно передоверить себя, — ушли они вместе. Под тихую уткинскую рифмовку: *«Ты люби на самом деле, Чтоб глаза мои блестели»* и мстительный взгляд бывшей жены большого чекиста.

Война, жизнь в больших и тесных городах, работа на газеты и журналы тут и там научили Ефима считать безупречным такое состояние души, когда он мог бы, оценив сложную обстановку, взять на себя ответственность за все, а взяв — на судьбу более не пенять.

От такого душевного положения Ефим был пока далек. Не мог он, не кляня каждые полчаса Чопура, делать то, что полагалось в данной ситуации. Ненависть отвлекала от главного — жизни. А он хотел жить, ему нужно было жить и не абы как, нет, а полной жизнью. Потому Ефим себе сильно не нравился. И чем больше Ефим не нравился себе, тем больше нервничал и сомневался. Часто даже по пустякам. Вот и сейчас, казалось бы, идешь — ну и иди, но нет же, он все никак не мог решить, правильно ли делает, что направляется в Бакинский рабочий театр. А если говорил себе, что правильно, что другого выхода у него просто нет, тут же начинал сомневаться, в том ли направлении двигается. Он останавливал прохожих, спрашивал, где Молоканский сад. Те отвечали ему приветливо, как и положено людям, избалованным количеством солнечных дней в году: товарищ-щ, это самый короткий путь, товарищ-щ, рабочий театр ждите по вашу правую руку минут через пять-семь. И все это с неизменной товарищ-щ-еской улыбкой и искоркой, сопутствующей ей, в глазах.

За поворотом, на широкой улице ему удалось сбросить напряжение, оглядеться по сторонам. Вскоре Ефим привычно увлекся ходом своих мыслей, шаг его стал прежним, уверенным, и появилось ощущение, что он вышел из тупика. По такому случаю Ефим закурил блаженно и даже немного взгрустнул по оставленной им Москве, что незамедлительно сказалось на его отношении к Баку.

«Не знаю, хотел бы я жить в этом городе: не мой он какой-то, по мне так слишком экзотичен — во всем с перебором. Но что я о нем знаю?! Только то, чем Мара в Москве со мною делилась? Только то, что ветер здесь может запросто человека до стены разогнать или в море унести, что он солоноватый на вкус и отдает нефтью? Только то, что вижу сам? Баку не так давно брал уроки у европейских южных городов, что заметно по его молодому, однако уже успевшему благородно почернеть камню центральных улиц. «Одна из характерных черт бакинцев — обживать у себя на Востоке то, что вчера еще было модно на Западе, но они так долго обживают позаимствованное, что в какой-то момент оно становится их кровным и проявляется в городе на каждом углу», — вспомнились ему Марины слова. Он взглянул на декор под большим, застекленным в мелкую клетку балконом, на каменную вязь, на дубовые листики с прожилками, похожими на вены, на жемчужные раковины с заветной горошиной, на аккуратно

вырезанные зрочки на глазах рассерженной нимфы, взявшей под контроль Ефима в соответствии с принципами нынешней власти...

Ефиму нравилось, когда Мара говорила о бакинцах. У Мары было право на шпильку: она сама была бакилкой. Все, что она говорила о своих соотечественниках, касалось и ее самой. Ее шпильки не имели ничего общего с той мстительностью, которая так часто исходит от людей бесталанных, с гнильцой, когда они вдруг начинают вспоминать родные места, в свое время не одарившие их в полной мере вниманием. Оборачиваясь в прошлое, они смотрят на него так, будто у них что-то выкрали из кармана. Мара была другой. Совсем другой. Яркий экспериментатор во всем, она никогда не переходила черту, за которой начинается вседозволенность. Так часто слышал он от нее: «Все-таки надо быть собакой и знать свою траву». Любви, кинематограф — все случалось только на ее траве... Мара знала отмеренные ей свыше пределы, но это никогда не мешало ей быть смелой любовницей, смелой актрисой, смелым кинорежиссером. Может, из-за этой Мариной смелости он и не мог с ней порвать. «Что ж получается, она меня сильнее?!» И Ефим копил для борьбы с нею силы.

Итогом их последней схватки стала его пьеса «Строгий выговор». Нельзя сказать, что Маре она не понравилась, она была ею просто удовлетворена. Она считала ее «разгонной» в его биографии. Так и сказала ему: «Жду от тебя новых пьес и сценариев, а главное — романа...» Новый роман, вот что поможет ему навсегда разбежаться с Марой. Занять свое место в литературной элите, в кругу своих известных на всю страну друзей, которые в последнее время начали терять интерес к нему: ну, журналист, ну, драматург, ну, что-то там пишет... Что с того? До премии имени Чопура ему еще далеко. Вот меня уже на шесть языков перевели, а тебя даже на монгольский не переводят.

Какая-то дама, напоминающая статского советника в женском облике, с интересом взглянула на Ефима, царапнула взглядом парик и улыбнулась, смущаясь.

«Что ж я такого сделал, madame, против каких правил пошел, чем вогнал вас в легкое смущение?»

Если бы он остановился и посмотрел ей во след, в поисках лакомого кусочка для глаз, madame бы не удивилась, именно поэтому Ефим не стал оборачиваться. Ее подозрительно мерное раскачивание бедер так и осталось для самой себя.

«Хотя я здесь совсем недолго, смог уже убедиться — бакинцы люди с секретом. Правда, ни для кого секрет сей тайны большой не составляет, прочитывается довольно легко: если я поверю в исключительность своего существования, наивно полагает рядовой бакинец, смогу и других в этом убедить, а значит, добиться для себя необходимых привилегий, что в сию же минуту облегчит и окрасит в радужные тона всю мою жизнь. Желание жителей Апшеронского полуострова жить с “охранной грамотой” почему-то оборачивается сложной судьбой с заоблачным налогом, от которого те бегут в другие края, чаще всего — северные, надеясь там сотворить из своего секрета чудо. Не знаю, как у Мары с чудесами, но ее секрет “особого существования”, случалось, действовал на столицу. И не только...» Ефим вспомнил, как умела она из его плохого настроения вылепить чудесный вечер на двоих.

В еще одном ветреном переулке Ефим повстречал человека, который на мгновение показался ему знакомым. Старомодным кивком, точно на голове его сидело канотье, он поздоровался с Ефимом.

Ефим подумал, что так любезно и так осторожно могут здороваться разве что врачи-венерологи, и ответил ему буднично, как положено благополучно возвращенному в семью пациенту. Человека этого он не вспомнил даже после того, как мысленно приклеил к его лошадиному лицу седенькую бородку клинышком и вложил в руку дореволюционную трость.

«Нет-нет, не знаю я такого. Вероятно, он ошибся, обознался, а я подыграл ему на волне изменившегося настроения», — сказал себе Ефим и обернулся. Прошлое с ключиком-замочком скрылось за углом.

И снова он вспомнил о Чопуре и снова отругал себя за то, что вспомнил: «Разве непонятно, что мое мысленное обращение к нему делает его сильнее, а меня — слабее».

Погода была прекрасной. Плывшие высоко облака чуть поторавливали время. Деревья бодрствовали вместе с легким ветром и птицами.

На Ефима налетели две чудесные комсомолочки, обе азербайджанские тюрчанки, из студенческой газеты «Новый путь», так они перевели ее название — «Ени ёл». Девушки учились на журналистов, их интересовала реакция приезжих на Баку.

«Казалось бы, только сейчас думал об этом городе, хорошо думал, глубоко, а куда все мысли подевал?!»

— Вы же приезжий?

Ефим кивнул.

— Раньше слышали о нашем городе? — спросила та, что представилась Марзией.

Другая — слету, откуда-то от высоко поднятой груди в бело-черный ситцевый горошек, — сфотографировала его. Даже разрешения не спросила.

Ну, конечно, он о Баку слышал, у него много, очень много друзей из Баку. Бакинцы — это особая порода, он это знает, и растворяются они в других городах особым образом, не теряя след родного города. Ефим хотел сказать, что иногда это происходит за счет других городов и людей, но воздержался. Поймут ли его правильно девушки?

Фотограф перекинула фотоаппарат через голову, мелькнули темные подмышки, вспыхнул на солнечном свету опухек покатога плеча, и Ефим почувствовал легкий сердечный перебой, мгновенно сменившийся грустью по чему-то неопределенному, потраченному ни на что, безвозвратно утерянному.

Что же я делаю, спрашивал он себя. Почему готов рассказать о себе все? Только потому, что они хорошенькие, что от них веет началом жизни? Я же не на войне, где предпочтительней делать больше, чем меньше, чем бы эти «больше» и «меньше» не оказались в итоге.

Что?.. Нравится ли ему архитектура Баку? О, да!.. Конечно! В особенности бакинский модерн. Эти каменные нимфы с мужественным взглядом и толстой шеей, что держат под контролем улицы. Он не стал говорить, что бакинский модерн навевает воспоминания о далеких европейских городах, в особенности часто перед глазами встает южное побережье Франции...

— А на какой город похож Баку?

Ему следовало бы сказать барышне Марзие, что Баку похож на Баку, но он сказал:

— Вероятно, вы хотели спросить, какой город напоминает мне Баку? Стамбул, как если бы Стамбул был к тому еще немножко Ниццей, Каннами и Валенсией.

Девушки засияли, похоже, им сравнение показалось удачным, хотя о Ницце, Каннах и Валенсии они представления не имели. Просто красиво звучали названия городов.

— А что, вы к нам надолго? — спросила фотограф, миловидная, но, видно, верблюжья колючка в душе.

— На то надеюсь.

— А чем будете здесь заниматься? — Марзия придала своему лицу напускную серьезность, которая ей не шла. Девушка была создана для материнства без чадры, а не для ученой кафедры.

— Местным кинематографом.

— Вы кинорежиссер?! — Девчонки чуть не воспарили над асфальтом.

— Всего лишь драматург.

В конце своего блиц-интервью они еще раз спросили, как его зовут. Он мог бы назваться любым именем, но он этого не сделал. Слишком долго был Войцехом. Слишком хорошо знал, как заемное имя перепахивает судьбу.

Как только девушки попрощались, довольные уловом, он вернулся мыслями к Маре, к ее природной смелости, к ее отваге, которую она сама в себе не замечала, но которая бросалась в глаза всем.

Ему показалось, что девчонки из газеты «Ени ёл» были Марой подсланы: «Она оттуда, из Москвы, все видит, всем руководит, как на съемочной площадке».

Из одной улицы Ефим влился в другую — темную, каштановую, с горячим порывом ветра, по которой тоже наверняка когда-то цокали Марины каблучки. Ефим мысленно перенесся к началу их романа, ища в прошлом ответы на сегодняшние вопросы, и так увлекся образами прошлого, что чуть не угодил под фаэтон, чем заслужил обидный окрик старого возницы. Тот даже руки над лошадьми к небу воздел, седобородый лихач в каракулевой папахе. А тут еще нетерпеливый ГАЗик начал подталкивать его сигналом в печень, так что Ефиму ничего не оставалось, как быстро-быстро перебежать на другую сторону, под защиту двух каменных львов у подъезда небольшого дома с эркером эпохи нефтяного бума.

«Смелость?.. Да, наверняка, из-за нее я и не могу никак расстаться с Марой. Хотя причем тут смелость? Вот из-за чего ты спать не можешь, вспоминая ее всю, — это и есть та самая правда, которой ты бежишь, не осознавая того».

Все последующие после знакомства дни Ефим открыто ухаживал за Маргаритой. А уже через неделю явился к ней с двумя чемоданами и с двумя Новогрудскими — старшим Соломоном и младшим Герцелем, — сообщив зачем-то, что его печатная машинка в закладе и ее нужно немедленно спасать, потому что он, совместно с

третьим Новогрудским — Шурой⁷, будет писать сценарий к фильму «Измена».

Из трех Новогрудских Маргарита сдружилась с двумя — поклади-стым Герликом и вундеркиндом Шурой. А вот Соломон ей активно не нравился.

— По-моему, страшный человек, наверняка чекист, — поделилась она своим впечатлением с Ефимом.

— Не страшнее, чем я будет, — успокоил ее Ефим.

И, насытившись замешательством новой возлюбленной, объяснил, что многим обязан Соломону, что именно он, по просьбе дяди Натана, когда-то помог ему вернуться назад, перейдя советско-польскую границу.

На этих словах Маргариту рвануло, она рукокрыло взлетела с кровати, встав в точности такой же, как на фотографиях Гринберга:

— Разве такое возможно, перейти границу?! — А потом: — Зачем ты мне это рассказываешь? Проверить хочешь, не донесу ли? В «русскую рулетку» со мною играешь?

И он снова успокоил ее — «дорого встанет такая “русская рулетка”».

— В какой же стороне были три твоих моря? — спросила она его.

И Ефим рассказал ей десятилетней давности историю, от начала до конца, почти все, кроме недавней поездки в Стамбул и на Принцевы острова, куда отбыл по просьбе Соломона Новогрудского и еще кого-то, кого именно Ефим не знал, но предполагал нескольких высокопоставленных армейских чинов и одного наркома. Вот этого «Маргарите точно не надо знать. Вот это, правда, — опасно».

А потом он, не вылезая из теплой постели, гулял с ней по Вене, по его Вене, потом показывал ей свой Зальцбург, потом, сбежав с заснеженного брейгелевского холма, облюбованного одним модным австрийским писателем, оказался с Маргаритой в Вероне среди желтой дзенской листвы на площади у монастыря Сан-Дзено, а потом ветер над закрученной в кольца, совсем как на рисунках Леонардо, реки Адидже перенес их сначала в солнечный Рим на виа Маргутту, а затем в дождливый Берлин на Курфюрстендамм.

Поначалу Маргарита не знала — верить ему или нет, но чем продолжительней был их полет, тем убедительней казался рассказ Ефима.

⁷ А.Е. Новогрудский (1911—1996) — советский сценарист документальных и художественных фильмов, критик, журналист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1982).

А когда он начал рассказывать ей про Париж, «аббатство» в Фонтенбло и своего мастера Джорджа Ивановича, Маргарите показалось, что Ефим раздваивается на глазах:

— Не знаю, кто ты, а кто твой двойник. Еще не умею вполне отличить вас.

Ефим тогда сказал, что и у него не получалось отличить Джорджа Ивановича от его двойников.

Собственно говоря, потому-то он и покинул «аббатство».

— «Аббатство»? — Она посмотрела на него, будто была аббатисой, а он «ягодкой любви» в монашеском облачении. — Почему вы называли вашу коммуну «аббатством»? — И сменила роль: просунула свою руку под его, положила голову ему на плечо, потерлась шелковистой щекою. Актриса!..

— Когда я добрался до дома в Фонтенбло, все уже называли это местечко «аббатством». Зато до меня никто не называл Джорджа Ивановича — Беем. Никому не приходило в голову так его назвать. Хотя одной встречи с ним хватило бы, чтобы определить — он настоящий, не исправимый никакими ментальными учениями кавказский бей.

— Восточную начинку не вытравить даже магам. — Мара села на край кровати, просунула руку в чулок и поиграла оттопыренными пальцами, показала ему Петрушку. — Да что там маги, если сам Чарднин из меня бакинку не вытравил.

— Вот ведь какое совпадение! О Баку и Тифлисе мне много рассказывал Джордж Иванович, там прошла его молодость. В Тифлисе в духовной семинарии он свел дружбу с Чопуром, а потом вместе они совершали налеты на Баку и его окрестности в период хаоса власти. Джордж Иванович знает о Чопуре столько, сколько самому Ягоде не снилось. Если Чопур и боится кого-то, то только его, Джорджа Ивановича.

Ефим сейчас практически повторил слова, которые принадлежали человеку с Принцевых островов.

— Я слышала, у Чопура, как ты его называешь, тоже есть двойники. — Мара набросила на себя халат с длинноусыми китайскими драконами.

— Его двойники все до одного — заложники страха, а двойники Джорджа Ивановича — слуги света, — сказал Ефим и добавил: — Понимаешь, у них разные коды существования. — Откинул лысую голову на подушку. — Настолько разные, что Джордж Иванович не

раз давал нам понять в Фонтенбло, что Чопур мечтает снять с него посмертную маску.

Маргарита встала с кровати. Придумывая новый образ в зеркале, поинтересовалась, почему Ефим называет Чопура — Чопуром, а не как все.

— Джордж Иванович уверял, что лучшее средство защиты от Чопура — называть его Чопуром.

— Тогда называй меня Марой, — сказала Мара, — это будет лучшим средством защиты от меня. — Уловила в зеркале новый образ, рассмеялась, точно в немой фильме Довженко, показав ему свои маленькие, выточенные для нежной любви зубы.

Тогда Ефим, не отрывая голову от подушки, произнес роковую для всякого мужчины фразу:

— От тебя у меня защиты нет.

После этих слов Ефима Маре-Маргарите стало по-настоящему страшно, показалось, впервые в жизни в ней было так много женщины. Такого не случалось с ней ни при Чардынине, ни при других возлюбленных.

Однако чувство это оказалось временным. Вскоре Маргарита с головой ушла в новую работу над «Рваными башмаками». А Ефим носился со своими рассказами из редакции в редакцию, гнал материалы в «Правду» и «Труд» и ждал, когда на советских экранах появится «Измена», снятая по их с Шурой Новогрудским сценарию.

Психологическая драма «Измена» на экранах так и не появилась: Главрепертком РСФСР запретил фильм как «пацифистский, деморализующий зрителя».

Намечающийся роман с исполнительницей главной роли Евлалией Успенской (Ольгиной) сорвался, а Шура Новогрудский куда-то очень грамотно запропастился, вероятно, засел за очередной сценарий где-нибудь в Малаховке.

Зато у Мары все складывалось как нельзя лучше. Ее фильм вышел на экраны. Успех был небывалым. Все, кто считал, что в Советском Союзе может быть только одна женщина-режиссер, и она уже есть, и зовут ее Эсфирь Шуб, теперь помалкивали.

«Рваными башмаками» восхищался даже сам Максим Горький. Фильм смотрели в Европе и в Америке. Из Америки прислали корреспондента: выведать у Мары, как она работает с детьми.

А потом случилась ее знаменитая встреча с Роменом Роланом на даче у Горького. Маргарита летала от счастья. Ее превозносили наравне с Эйзенштейном, Пудовкиным, Довженко... Казалось, вот сейчас-то все по-настоящему и начнется, но...

Но вдруг все пошло не так. Между ней и кино словно выросла стена. А после «Отца и сына» ее обвиняли в формализме, антихудожественности и политической несостоятельности, вытаскивали на обочину, заставляли каяться в «ошибках».

Маргарита не знала, что делать. Она решила написать письмо Чо-пуру. Ефим устал отговаривать ее:

— Ты что, совсем ничего не понимаешь? Подумай, что будет после твоего письма! Не понимаешь, что Пудовкин с Довженко тебе вовек не простят того, что было на горьковской даче? А тут еще Радек!..

И тогда они поссорились. Поссорились крепко, как никогда. И если бы не арест дяди Натана, разошлись бы на веки вечные.

Пока у Ефима проносились в голове все эти воспоминания, он незаметно вышел к Бакинскому рабочему театру. Подошел к служебному входу, располагавшемуся справа от лестницы.

Зашторенная высокая дверь с латунными ручками и неприветливой пружиной впустила его вовнутрь. Обычный служебный вход, как во всех московских театрах, только вот лестница больно высокая и мраморная.

Поднялся, подошел к вахтерше.

Пожилая красивая женщина, по всей видимости, так и не добравшаяся в свое время до Парижа, отложила растрепанную толстую книгу. Бывают такие — читаешь всю жизнь. Дома, на работе, в отпуске. И эта книга становится книгой жизни.

— Моя фамилия, — откашлялся, слотнул слюну, — Милькин. — Но в горле по-прежнему сухо. — Я из Москвы. — Сейчас бы стакан воды не помешал. — Драматург. Сегодня договаривался о встрече с Фатимой Таировой, но... Как и где я мог бы ее увидеть?

Женщина поднялась, встала за спинку венского стула, как это обычно делали раньше старорежимные педагоги в гимназиях, тихо спросила:

— Очень нужна? — Он не ответил ей, он уже все понял по ее глазам, смирившимся с обстоятельствами. — Вчера забрали.

Ему показалось, он услышал, как скрипят наверху половицы под сапогами чекистов. «Сколько их? Скорее всего — двое. Внизу должна

стоять машина. Черная. И в ней тоже — двое. И еще двое по углам улиц. Это если все серьезно». Но насколько серьезно они относятся к нему?

— Благодарю вас, — только и смог сказать Ефим.

— Не за что, товарищ драматург. — И шепотом: — Лучше не приходите сюда пока.

Он быстро сбежал вниз по лестнице. Сегодня ему определенно везло на порядочных людей. А ведь мог бы и нарваться. Еще как мог! Черного авто, выйдя на улицу, Ефим не обнаружил.

«Должно быть, неподалеку где-то дежурит, за каким-нибудь углом».

Хвоста тоже не было, но на всякий случай он зашел по пути в небольшой сад.

«Если за мною следят — отсюда проще всего будет заметить».

Вероятно, это был тот самый Молоканский сад, о котором ему говорила Мара. Он посидел на скамеечке. Развлекся здешними видами. Повспоминал, кто у него еще есть в этом городе.

«Нюра, сестра Мары, но к ней я, конечно же, никогда не обращусь за помощью. Соломон и Герлик — бакинцы, но они в Москве и трогать их никак нельзя: потянется ниточка. Телеграфировать Маре? Тоже опасно. Наверняка за ней следят так, как не следили раньше, до моего бегства в Баку».

В последний раз они встречались с Марой неделю назад в Детском парке краснопресненских ребят. Парк разбили совсем недавно на месте мебельной фабрики Шмита.

Ефим пришел пораньше. Выбрал скамейку неподалеку от эстрады.

Солнце выглянуло из-за синей дымки, и из фотографического кружка навстречу солнцу вылетела ватага пионеров с «ФЭДами» и «ФАГами».

Тугогрудая, с мускулистыми икрами комсомолочка из тех, что были запущены Чопуром в массовое производство совсем недавно, что-то кричала вдогонку детям, затем махнула такой же мускулистой, как ноги, рукой и побежала за ними сама. Потом остановилась, раздула полосатую грудь и свистнула в боцманский свисток.

Детвора даже не обернулась.

Объективы маленьких гринбергов интересовало все: шустроногая мезлозга на велосипедах, томные отроковицы на качелях, дебелая продав-

щица из будки «Мосминводы», отгоняющая мокрым полотенцем безногого инвалида с «Марсовой звездой» на порубленной белогвардейцами груди, озорной черный пудель, нарезавший кривые круги вокруг белобрысого мальчугана с желтым теннисным мячом, трубач в тубетейке, выдувающий медь под портретом прищурившегося кавказского усача.

Маленький мальчик, вокруг которого кружила няня, смотрел на юных фотографов, как зачарованный. А Ефим смотрел на мальчика.

«Мне бы такого Бог послал, половину бы дела сделал в жизни».

Мальчик был тихий, рассудительный не по возрасту, с большими грустными глазами. Няня звала его Аликом: «Алик, подойди-ка ко мне, дружочек. Ты слышишь меня?!»

Ефим поймал себя на том, что, глядя на мальчика, которого представил сейчас своим сыном, испытал чувство вины. Если бы мальчик был не столь маленьким, он бы даже извинился перед ним. Кто знает, возможно, у него еще будет время это сделать. Но как он ему все объяснит? Как скажет, что не намерен был жениться на его матери, что просто поддался сильному, очень сильному влечению, что такое бывает со взрослыми людьми? Но почему ему видится именно этот сюжет, почему он не выберет другой, с другой мамой, возможно, тогда и объяснять ничего не придется?..

«Значит, все зависит от мамы? Значит, маму надо искать правильную? Как они ищут правильного отца из-под шляпки, под ошалелый стук каблучков? А как же любовь?!»

Ефим хотел было подозвать Алика и прочесть ему «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», но, поразмыслив, он решил, что это уведет пацана далеко в сторону. Сам когда-нибудь разберется.

Вот Мара — она могла бы все пацану объяснить. На съемочной площадке такое с детьми творит, они все делают, о чем она их только не попросит. Эх, если бы Алик был от Мары...

И только он так подумал, как увидел ее — Маргариту. Она шла со стороны Горбатого моста. Со стороны солнца.

Какое-то чувство тоски обрушилось на него, как будто вдруг смотришь на любимую женщину и понимаешь — то ли она уже не та, то ли ты уже не тот.

Мара со знаменитых фотографических ню Гринберга лишь отдаленно походила на эту женщину. Совсем другая Мара, в ответ на его очередную вспышку ревности, могла сказать месяц тому назад: «Мое

чувство к тебе никогда бы не стало меньше от случайных “издержек плоти” — твоей или моей. А внимание, которым тебя наделяли неплохие женщины, только доказывает мне, что мой выбор не так ужасен, как меня стараются убедить в этом мужчины».

Больше всего Ефима удивила тяжесть ее походки и начинающееся бабье колыхание.

«Может, она беременна? Раньше никогда так не ходила. Марин шаг всегда был летуч».

Ему показалось, что на эту встречу Маргарита пришла с большой неохотой.

«Нет уж, хорошо, что Алик не ее сын. Если бы мне пришлось с ней расстаться — я бы точно не выжил, потеряв двоих сразу».

Он встал со скамейки и сделал несколько шагов навстречу Маргарите.

Ефим и Мара старались не встречаться взглядами — больно уж изучены друг другом были их глаза.

Маргарита, не сговариваясь с Ефимом, тоже отметила про себя фактурного мальчика. Подошла к нему, присела, чтобы быть с Аликом одного роста. Хотела дотронуться до него, но какая-то стальная пружина удержала ее.

— Да, был бы у нас с тобой такой, много легче было бы и тебе, и мне, — сказал он, чтобы снять возникшее напряжение.

Мара в ответ улыбнулась, как улыбаются сильные, очень сильные женщины, когда им бывает больно.

— Или сложнее. Как ты? — Он поймал ее руку в полете, когда она хотела поправить волосы на его парике.

— Как видишь!

Порубленный инвалид откатился от будки с водой.

Черный пудель опрометчиво понесся за очередным свистом чопуровской комсомолки, но тут белобрысый лопухий мальчик расстался с теннисным мячиком, и пудель с небольшим заносом повернул в сторону клумбы.

— Как с тобой тяжело...

— С тобой, думаешь, легче?

Как это с ними бывало, скоро они все-таки нашли то общее, из-за которого никак не могли расстаться по-настоящему.

Она даже сказала ему, что замуж больше не выйдет ни при каких обстоятельствах, зато заведет черную пуделицу, «нaroжает» щенят и будет торговать ими оптом.

Алик попросил воды. Няня дала мальчику денег. Алик пошел к будке. Сам. Увидев повеселевшего инвалида, намеревавшегося выцганить у мальчишки монетку, остановился, но через секунду собрался с силами и прошел мимо него.

— Какой молодец, — сказала Мара и извлекла из сумочки несколько сложенных вдвое бумаг. Развернула, расправила: — Прости...

— Ничего страшного.

— Я сделала все, как ты просил. Вот направление. Вот — печати. Распишешься сам. Здесь вот и здесь. И не так размашисто, как ты обычно это делаешь.

— ?! — Он изломил бровь.

— Двадцать третьего мая ты уже должен быть в Баку. Утром двадцать четвертого — на «Азерфильме». Это адрес Фатимы Таировой, мы с ней вместе учились в театральной студии, а сейчас Фатимка служит в БРТ, в Бакинском рабочем театре. Кажется, метит в примы. Она и раньше была талантлива и необыкновенно хороша собою. Прошу тебя не увиваться за ней. Сделай одолжение.

— Сделаю.

— Уж постарайся. Мы с ней в кратчайшие сроки зарезервировали для тебя роскошную комнату в Ичери-Шехер. Целых двадцать четыре квадратных метра, с двумя окнами и балконом на море. И не говори, что я о тебе не забочусь... — Она протянула ему рекомендательное письмо. — А это передашь еще одному моему человечку — Семену Израилевичу. — Она вырвала из блокнота листок и химическим карандашом начала что-то быстро писать. Потом вспомнила о чем-то более важном, спросила: — Что слышно о дяде Натане?

— Посылки начали возвращаться.

— Вот как! Сочувствую. Прошу тебя следовать моим советам и не бывать в Баку в тех местах, которые я тебе сейчас перечислю. В противном случае — все напрасно. Ты понял меня?

— Ты говоришь со мной, как со своими детьми на съемочной площадке.

— А как иначе говорить с тобой, если ты все делаешь мне наперекор. И потом, с чего ты взял, что я с детьми на съемочной площадке разговариваю, как с тобой. У тебя есть закурить?

— Ты же бросила.

— Да, вчера.

Он протянул ей папиросу, тут же чиркнул спичкой, сказал:

— Можно подумать, Радек⁸ у тебя по струнке ходит.

— Радек, Радек... Что ты прицепился к нему? Как ты вообще можешь после всех своих загулов попрекать меня Радеком? — Она сунула ему в руку листок, на котором успела что-то набросать.

— Ладно, прости, не хотел.

— Я знаю, чего ты всегда хотел — чтобы я любила тебя. Хотел сильно, но недобросовестными средствами.

— Возможно, что так. И что с того?

Время будто сломалось. Теннисный мячик завис в воздухе вместе с черным пуделем.

— Я хотела любить человека другого внутреннего склада, чем ты, и считала возможной эту перемену. Но несколько лет назад я окончательно поняла, что это неосуществимо, и по-настоящему нам надо было тогда же разбежаться и впредь никогда более не сходиться.

— Что же тебе помешало?

— Много причин. — Она не знала, обо что ей затушить папиросу, а он не знал, как ему выйти из-под ее камнепада.

Тут к ним подбежал Алик: промахнулся скамейкой. Ребенок, видимо, почувствовал, что что-то не так и кинулся к няне. Забрался к ней на колени.

Мара примеряла улыбку Джоконды, которая ей совершенно не шла.

Из-за этой ее улыбки на лбу Ефима выступил пот.

— Вокруг Москвы начали гореть леса, — сказала Маргарита, точно собиралась весь парк спасти от конфуза.

— И смог надвигается на город, — поддержал он ее.

— Ну, что? Мы обо всем договорились?

— Да, конечно, я, пожалуй, пойду, — сказал он и встал со скамейки.

— Погоди. Вот еще что. Пиши свой роман, Ефим, и присылай мне каждую неделю по новой главе.

— Сама же говорила, что надо быть осторожной. Первое же мое письмо прочтут раньше тебя. И потом — в неделю по главе я не смогу. Я так не умею.

— Сможешь, если захочешь. Ты столько раз рассказывал мне эту историю, что тебе остается только сесть и записать ее. Статьями и

⁸ К.Б. Радек (настоящее имя — Кароль Собельсон) (1885—1939) — советский политический деятель, деятель международного социал-демократического и коммунистического движения.

сценариями ты там не отчитаешься. Чтобы подняться, надо покинуть избитую дорогу.

— Знаю, этот твой любимый афоризм. Не знаю только, кому он принадлежит, тебе или Монтеню?

— Как устроишься, телеграфируй.

Она тоже поднялась со скамейки, не говоря ни слова, стремительно пошла в ту сторону, откуда появилась, но, сделав несколько шагов, остановилась, развернулась и послала ему быстрый воздушный поцелуй.

«Ну вот, кажется, и развелись, точнее, разлепились, — подумал он, оставшись один. — Через какое-то время она попросит меня вернуть все свои письма, а мне принесет мои или перешлет их в Баку».

Это был тот час пятницы, в который местами уже закралась суббота.

От жары соскальзывал парик. Ефим скинул пиджак и забросил за спину, как это делал обычно новый советский курортник в каком-нибудь документальной фильме. Оглянулся по сторонам. Никого подозрительного, только люди кругом. И люди — как люди.

«Считай, что ты в Стамбуле, — сказал он себе, — только в советском Стамбуле, в котором ты то ли керосинку забыл выключить, то ли кран оставил открытым».

И пошел вниз, к гостинице «Старая Европа», дорогой, которую Мара проложила в Москве химическим графитом на листочке-оборвыше.

Но вскоре Ефим замедлил шаг, остановился в раздумьях: «А может, все-таки свернуть налево, к Парапету? А оттуда податься на Торговую?».

Его тянуло на Торговую. Мара говорила, что, если кто-нибудь ему скажет, что Баку начинается с Михайловской, Садовой, Ольгинской или Мариинской, это неправда, по-настоящему город открывается только с Торговой улицы: «Но ты лучше туда не ходи, на Торговой можно встретить кого угодно — и своих, и чужих. А это совсем не то, что тебе нужно. Хотя, что я говорю, все равно ведь пойдешь. Назло мне».

Он свернул налево. Первое, что увидел, выйдя на Торговую, — людей, собирающихся у фонарных столбов с черными хоботами динамиков. Люди застыли на месте и чего-то ждали. Может быть, поэтому все они показались ему мертвыми. И у него самого появилось чувство, будто и он завис сейчас между жизнью и смертью.

Он вспомнил, что точно такое же чувство испытал в одном польском замке, куда угораздило его однажды попасть.

«Нет, все-таки права была Мара, не надо было сюда идти!»

Вскоре в черных раструбах начал хозяйничать голос хозяина города Багирова.

«Представители многонационального Баку, многонационально-го Азербайджана, спаянные дружбой народов...»

Товарищ Багиров был редкостным тугодумом, большой связностью речь его не отличалась, и каждое слово отдавало бычьей потливостью. В довершение ко всему, хазарский ветер буквально в ключья рвал его громкую речь, глумился над местным божком, как хотел.

«На пороге новой конституции вы должны оглянуться, должны посмотреть, кто враг советского народа, кто враг Азербайджана, кто враг наших национальных республик... Ми будем беспощадно уничтожать этого врага!..»

Люди слушали с напряжением. Переминались, глядя друг другу в затылок. Воздух густел меж головами. Дышать становилось труднее. Мерещился запах несвежего белья.

Ефим представил себе Фатиму Таирову, страшного врага национальных республик, которой чекисты выбивают сейчас зубы где-то глубоко под землей. Зачем она им? Чем не угодила Чопуру? И почему решили забрать ее в пятницу? Чопур ведь не любит ни пятниц, ни суббот, ни воскресений. По правде сказать, он ни один день недели не любит. Ему лишь бы ночь над страной раскачивалась бездетной люлькой. Безлунная и беззвездная, с которой можно чокаться бокалом грузинского вина.

А Багирова уже несло по ухабам и кочкам, аж до самой столицы, до самого Кремля. «Ми не должны забывать, что враг еще не добит, что борьба капитализма с социализмом не кончилась и происходит в мировом... в международном... в планетарном масштабе... Как говорит товарищ... — многая лета Чопуру. — Когда читаешь показания разоблаченных врагов, не верится, что в человеческом облике может существовать лютый зверь».

Пауза, в точности такая, какие обычно берет Чопур. Гудение Хазар-ветра. Наверное, товарищ Багиров Мир Джафар Абассович сейчас за кепку свою держится, как за место первого секретаря.

«Ми знаем хищных зверей, ми знаем бешеных собак, но таких, каких вырастила троцкистская, зиновьевская и мусаватская банда, ми будем находить и уничтожать».

Торговая молчит. Мертва Торговая.

«Находить и уничтожать».

Ефим подумал, что его новый квартирный хозяин и тот, наверное, лучше изъясняется, чем этот ставленник Чопура.

Нет, правда, спел бы он лучше про попугая, который «на одной ветке с мамой сидит», повеселил бы Торговую, вернул бы людей к жизни.

К чему была приурочена эта речь Багирова — к готовящейся конституции или к еще теплому постановлению Политбюро ЦК о репрессировании троцкистов, — Ефим не знал.

Он хотел выбраться из толпы, уйти как можно быстрее, но понимал, что люди Чопура расставлены по всему городу и в особенности много их должно быть возле радиоточек.

Придется этого кавказского Цицерона дослушать до конца и отойти от громкоговорителя только тогда, когда народ начнет расходиться. А еще лучше после речи Мир Джафара Абасовича попить газировки у стенда со свежими газетами. Глянуть, как проходит первый чемпионат СССР по футболу. Успокоиться, осмотреться.

И газировку с абрикосовым сиропом нужно пить, ни на минуту не забывая про остров Наргин. Так она вкуснее будет. Значительно вкуснее, ну прямо, как живая вода.

Стоило репродукторам смолкнуть, в воздухе сразу же стало меньше общественного: нечистого чесночного дыхания с кариозной гнильцой, перебиваемого резким подмышечным духом и другими не очень приятными запахами запущенных интимных зон.

Загустевшая в толпе кровь побежала, понеслась теперь пешеходным джазом в сосудах.

Улицам вернули их названия, витринам — отражения действующих лиц парада-алле, приписанные к подворотням дворники с летающими метлами заняли свои позиции у ворот.

Люди весело двинулись кучками в четырех направлениях с надеждой на то, что «находить и уничтожать» будут не их и не здесь.

Ефим занял очередь за полной белой феминкой с высокой неполиткорректной прической, двойным «подбородком» на затылке и прямой веснушчатой спиной, от которой исходил терпкий аромат то ли «Красной Москвы», то ли «Белого Берлина». Полез в карман за медяками.

Оглянулся и вдруг, под плакатом «Превратим СССР в страну индустриальную!» увидел Новорудского-младшего.

Златокудрый, искрящийся бог перемен и неожиданных встреч, все принимающий и всем довольный, смотрел на него, глазам своим не веря, и так улыбался, будто не Багирова только что слушал, а Морфесси⁹ где-нибудь в «Штайнере».

— Ефим, ты?!

Герцель развел руками — единственный живой в окружении мертвых. Ефим немедленно покинул очередь, увлекая его в сторону: за ним тоже могли следить.

— Да ты погоди, погоди, я не один. Ляля! Иди к нам. Каким ветром?..

— Индустриальных перемен.

— Снова с Марой разошелся?

— И не сходился.

— Я же зимой вас видел вместе. Не переживай, мы тебе тут быстро невесту найдем. — Он спохватился. — Лейла Уцмиева. — Оглянулся по сторонам. — Княжна Уцмиева. Ляля, позволь представить — Ефим Ефимович Милькин. — Снова оглянулся по сторонам. — Если бы ты, Лялечка, знала, какое за ним прошлое...

— Герлик, давай отойдем в тихие улочки.

— А что я сказал? Ляля, Ефим в прошлом — красный командир.

— А в настоящем? — спросила княжна, сверкнув беспартийными глазами.

— Прозаик, журналист и драматург.

— Покамест только кинодраматург, — поправил Ефим.

— Скромняга, скромняга, — и по плечу похлопал друга. — Что думаешь по поводу этой, с позволения сказать, речи? — спросил светский Герлик.

— Ты помнишь домик палача в Зальцбурге? — Взгляд Ефима сейчас не смогло бы растопить и бакинское солнце.

— Ты что имеешь в виду, тот дом палача, рядом с которым никто не хотел селиться? — Герлик обнажил ослепительно белые зубы — мечту чопуровских опричников.

— Именно. Надеюсь, ты понял меня.

Герлик хотел что-то сказать, но Ефим перебил его.

⁹ Ю.С. Морфесси (1882—1949) — российский эстрадный и оперный певец (баритон).

— Вы сейчас куда?

— Гуляем, а что? У тебя дела?

— Я только приехал. А ты как здесь, к родным?

— Слушай, а давай завтра к нам на субботу, все тебе расскажу.

И Ляля... Ляля тоже будет.

Ляля сделала удивленные глаза, видно было, что она уже несколько раз в жизни ломала подаренные ей розы.

Ефим задумался:

— Неудобно как-то, и потом...

— Что значит — неудобно? Что значит — и потом? Я тебя в последний раз когда видел? Запиши адрес. Вторая параллельная, дом двадцать дробь шестьдесят семь, квартира тридцать семь. Третий этаж. Запиши-запиши... У тебя есть чем?

— Герлик, я запомню.

— Поймаешь фэтон, скажешь: мне нужно на Кёмюр мейдан или Кёмюрчи мейданы. По-русски это будет Угольная площадь или Площадь угольщиков.

— В каждом городе такая есть.

— Место в Баку всем известное.

— А можете сказать просто: мне на Шемахинку, — вставила свое слово Ляля и улыбнулась так, словно только что вышла из пены каппийской.

— Ну, так что? Придешь на субботу к Новоградским?

— Герлик, иди, гуляй барышню. Таких красивых я со времен Вены не видал.

— Это вы еще его сестру младшую не видели, — княжна снова улыбнулась.

«Наверное, так улыбаются вечности, — подумал Ефим. — Просто газель, дочь газели с шахиншахских миниатюр. Герлику всегда везло на баснословно красивых и породистых женщин».

— Ты будто сам не свой, у тебя точно все хорошо? — Герлик окинул его внимательным корреспондентским взглядом поверх очков в золотой оправе.

— Хорошо-хорошо.

— А где остановился? — тот же внимательный взгляд.

— В Крепости, — сказал он и незаметно глянул на княжну.

В ответ она одарила его той улыбкой, за которой гоняются фотографы всего мира.

— Будь осторожен. Твоя Мара, между прочим, в Крепости с кинжалом ходила. Завтра, как стемнеет, у нас — и никаких отговорок.

Ефим взял «под парик» и двинулся в сторону дома с часами на башенке.

